

Александр Амфитеатов

**Александр Иванович
Чупров (II)**



Александр Валентинович
Амфитеатров

Александр Иванович Чупров (II)

«Бывают дни, когда солнечный закат полон влекущей и опасной тайны: уходящее солнце горит тоскливо и роскошно, и неудержимо тянет тебя к окну – смотреть, не отрываясь, в печальное золото далее, в пожарные сияния неба, в споры их отражений с белизною и про-синью вод...»

**Амфитеатров Александр
Валентинович
Александр Иванович Чупров
(II)**

Бывают дни, когда солнечный закат полон
влекущей и опасной тайны: уходящее
солнце горит тоскливо и роскошно, и неудержимо
тянет тебя к окну – смотреть, не отрываясь,
в печальное золото далей, в пожарные
сияния неба, в споры их отражений с белизною
и просинью вод.

Боюсь я известий, приходящих в подобные
дни.

В такой день, четыре года тому назад, в Вологде,
просунулась ко мне с улицы коричневая лапа
в парусиновом рукаве и оставила на подоконнике
телеграмму:

– Чехов умер, пожалуйста, немедленно статью.
«Русь». В такой день, вчера, старушка-посылная
из Сестри-Леванте принесла мне зловещий
желтый листок от «Одесских новостей»:

– Пожалуйста, немедленно фельетон о Чупрове.

И охватили меня ужас и великая скорбь, каких
не испытывал я именно с того тяжелого чеховского
дня. Ведь – дело шло о человеке, ближайшем мне
и родственно, и духовно. Я знал Александра
Ивановича Чупрова все 45

лет моей жизни, потому что он даже мой крестный отец. Я любил и уважал его как одну из самых великих и светлых душ, сиявших на моем пестром горизонте житейском, – как «дядю, учителя и друга», которому я только что посвятил своих «Восьмидесятников». Посвятил символически-любовно и с глубоким убеждением, потому что А. И. Чупров был яркою, нежною, милою луною печальной нашей московской восьмидесятной ночи. О как немного было их, этих лун, и как становилось темно, когда они угасали!

Телеграмма не говорила о смерти, хотя чувствовалось, что – умер старик! Зачем бы иначе сейчас, когда Александр Иванович столько лет живет за границей на покое и в полузабвении, потребовался экстренно спешный фельетон о нем? Но – хотелось схватиться за соломинку какой-нибудь надежды. Быть может, забытый было и неожиданно празднуемый юбилей? внезапное публичное выступление? нашумевшая статья? новый ученый труд, сделавший переворот в науке?.. Рассудок говорит, что – нет, просто – смерть. И в то же время я чувствовал, что не в силах я ни

строки написать об А. И. Чупрове – до тех пор, пока не буду знать наверняка, что с ним. Я был убежден, что он умер, но возможность собирать мысли и воспоминания о нем, как уже о мертвом, казалась мне невероятной и оскорбительной: точно приходилось писать некролог живому другу! Я послал телеграмму в Мюнхен сыну А. И. Чупрова: «Все ли благополучно?» Трагический ответ не заставил себя ждать: «Отец умер внезапно, в воскресенье; похороны в Москве; тело отправлено вчера; я выезжаю сегодня...» *Consmnmatum est!*[1]

Трудно мне писать об Александре Ивановиче. И горько, и трудно. Образ его так тесно вплетен в мою жизнь, что, говоря о нем, мне невозможно избежать постоянных отступлений в автобиографию. Озираясь на свою молодость, я вижу след Александра Ивановича решительно в каждом светлом ее пятне, я замечаю его отступление или свое отдаление от него решительно во всех моих сумерках и ночных темнотах.

Тому, кто не знал Александра Ивановича лично, почти невозможно вообразить себе святую обаятельность этого удивительного

человека, прожившего почти семидесятилетнюю жизнь свою, трудную, рабочую, далеко не розами усеянную, живым воплощением шиллеровой оды «К радости». Когда, два года тому назад, я поджидал его на вокзале в Мюнхене и выбежал он из вагона – в сияющей седине, блистая сквозь очки смеющимися голубыми глазами, улыбающийся и радостный, как солнечный луч, – я вдруг почувствовал, что умаляюсь, как дитя. Предо мною размахивал шляпою, хохотал и вскрикивал свое знаменитое:

– Да – ну? Да – врешь?

Тот же самый молодой, веселый, жизнерадостный студент-идеалист, оптимист с непоколебимую верою в совершенство природы и в прелесть человечества, что когда-то, сорок лет назад, прыгал в ровнях со мною, пятилетним, по Лихвинским оврагам, играя в восхождение на Монблан. Так, с детства на всю жизнь и остался он запечатлен в моей памяти: стоит на краю оврага, ноги циркулем, машет палкою, сияет глазами, хохочет, кричит, поет и зовет меня, пыхтящего и ползущего по калужской глине, к себе – на Монблан! на

Монблан!.. И, когда я, заочно, думал или вспоминал об Александре Ивановиче, мысли мои неизбежно проходили и проходят сквозь этот первый образ, точно сквозь символическое предисловие, освещающее его жизнь.

Я не знал человека, более умелого и способного располагать к себе детей: талант вообще редкий в мужчинах и все более и более исчезающий из нашего больного, мрачного, черствого, преждевременно старого общества. Я в детстве молился на юного «дядю Сашу» и лип к нему, как живой пластырь. Прошло сорок лет, и, с первой же встречи, совершенно так же повис на седого мюнхенского «дедушку» мой четырехлетний сын: покуда мы оставались в Мюнхене, кроме дедушки, тоже не было и света в окошке. Наблюдая тогда старого и малого, я только дивился и завидовал искренности их общения. В отношениях Александра Ивановича к детям не было ни капли той властной снисходительности, с которой взрослые, обыкновенно, «любят детей». Приближаясь к ребенку, он сразу становился с ним вровень, с совершенною серьезностью принимал к сердцу все детские интересы,

добросовестнейше проникался детским мировоззрением. Ребенок чувствовал себя с ним маленьким человеком – равноправным товарищем большого ребенка. И ребенок увлекался Александром Ивановичем, и Александр Иванович – ребенком. Я уверен, что, играя с какими-нибудь своими или чужими малышами в лошадки или в казаки и разбойники, наш знаменитый профессор, глубокомысленный политикоэконом, совершенно искренно воображал себя в эти минуты коренником, кучером, разбойником, – всем, чего хотели и требовали дети, – веселился, как они, переживал все их эмоции, радости и обиды.

Как рано и победоносно сказывалась в Александре Ивановиче его исключительная обаятельность, хорошо покажет следующий факт нашей семейной хроники. Когда А. И. Чупров учился в калужской семинарии, отец мой, В. Н. Амфитеатров, был в ней преподавателем. Необычайная талантливость и симпатичность юного семинариста привлекали внимание юного же преподавателя. Разница лет между ними небольшая. И вот стали они вместе читать, образовываться. Возникла

тесная дружба, продолжавшаяся затем не один десяток лет. Отец мой настолько очаровывался учеником своим, что желание породниться, войти в семью, породившую такого увлекательного юношу, явилась в нем гораздо раньше, чем он узнал мою мать – родную сестру Александра Ивановича и живое женское повторение его характера. Да и лицом брат и сестра тоже были очень схожи между собою. Отец мой собирался тогда идти не в священники, а в университет, но старый мосальский протопоп Иван Филиппович Чупров, огорчаясь, что многочисленные сыновья его все уклонились от духовного звания, желал, чтобы, по крайней мере, дочери были за попами. И вот отец мой, чтобы жениться на Елизавете Ивановне Чупровой, надел рясу. Действительно, женившись, он совершенно вошел в семью Чупровых. Настолько тесно и глубоко, я, например, даже не знавал никогда своих, кажется, многочисленных дядей и теток с отцовской стороны: все мое детство, вся моя холостая молодость прошла с Чупровыми, дядями и тетками по матери. Теперь, по кончине Александра Ивановича, из этого по-

колениа в живых остается только одна самая младшая сестра его, Наталья Ивановна.

Мосальский протопоп Иван Филиппович Чупров был богатырь и умница из тех старозаветных бурсаков, которых из десяти девять засекали, а десятый выходил человеком. Но детей он народил недолговечных, с предрасположением к туберкулезу: несчастное наследство со стороны матери, Елизаветы Алексеевны Брильянтовой. Из всех многочисленных Чупровых – «Ивановичей» только один Александр Иванович, старший, дожил до преклонных лет: он скончался на 67-м году, намного пережив всех своих младших братьев и сестер, за исключением вышеупомянутой Натальи Ивановны, младшей его лет на пятнадцать. Он же один из братьев и сестер умер от грудной жабы и сердечного припадка, а не от туберкулеза, рокового страшилища этой семьи. В ней было два типа: высокие, русые, кровь с молоком, голубоглазые – Александр, Алексей, Елизавета, Владимир, Наталья, и малорослые, черненькие, с зеленовато-карими глазами, Марья и Иван. Туберкулез не пощадил ни тех, ни других. Одни, как Иван, Влади-

мир и моя мать Елизавета Ивановна, сгорали быстро, жертвами какого-нибудь шального воспаления в легких и скоротечной чахотки, другие, как Алексей Иванович и Марья Ивановна, заболевая сравнительно поздно, тянули медлительное умирание лет по десяти. Все, кроме Марьи Ивановны, умерли на руках Александра Ивановича, всех он проводил в могилу. Не удивительно, что повторное страшное зрелище ядовитой наследственности выучило его величайшей физической осторожности. Трепет пред легочными болезнями был единственною черною тенью, которая временами скользила по его красивому мирозерцанию. Сколько раз приходилось мне выслушивать от него нотации, необычно нервные, полные испуга и волнения, когда до него доходили известия о каком-нибудь моем дурачестве на риск и за счет моего несокрушимого здоровья.

– Дядя, – возражал я, – да ты посмотри на меня: ну что мне сделается? Скорее Минин и Пожарский простудятся, чем я.

– Ну вот и врешь! – горячился он, – вот и врешь! Не надейся на то, что велик вырос. Не

забывай породу. Мы все до известных лет таковы, что хоть купай нас в крещенской проруби – и то не кашлянем. А потом вдруг – в один глупый день, как покатымся под гору, кончено: уже нельзя удержать, пока не скакнемся в могилу...

Когда, два года тому назад, в Париже я заболел воспалением легких, то по выздоровлении получил от Александра Ивановича письмо, пропитанное почти мистическим ужасом к роковой болезни, унесшей в могилы столько близких ему людей. Воображаю, как тяжело и мучительно было состояние его духа, когда ему самому приходилось переносить подобные болезни. А поражали они его не раз. Своим сравнительным долголетием Александр Иванович обязан исключительно превосходному терпеливому своему характеру, смирением принимавшему всякий врачебный, диетный и житейский режим. В медицину он верил свято и в руки врача отдавал себя с трогательно добросовестностью, яко овца, на заклание ведомая. В семидесятых и восьмидесятых годах его ближайшим другом был знаменитый профессор-терапевт А. А. Остро-

умов, проводивший почти всех Чупровых в их ранние гробы.

Зато и торжествовал же и радовался же А. И. Чупров, когда судьба посылала ему на встречу истинно здорового, сильного человека. В этом отношении я был для него – клад. Ходит, бывало, кругом, поглядывает, по плечам хлопает:

– Эка, здоров-то ты!.. Эка молодчиница!.. Поди пудов шесть в тебе будет?

– Больше, дядя.

– Да врешь?!

Это комическое «да врешь?» немало удивляло собеседников Александра Ивановича и даже не раз доставляло ему маленькие неприятности. Особенно, когда в разговоре с людьми, не слишком близкими, изумленное «да врешь?» вежливо повышалось в число множественное – «да врите?»

– Станный человек Александр Иванович, – сказал мне однажды некто Станицев, болгарин-филолог, впоследствии, кажется, сделавший большую карьеру по министерству народного просвещения. – Такой он деликатный, участливый, любезный, добросер-

дечный... И в то же время – ни одному слову собеседника своего не верит и даже скрывать того не церемонится.

– Откуда вы взяли? – удивился я. – Дядя – самый доверчивый человек на свете! Уж скорее недостаток его – именно чрезмерная доверчивость.

– Помилуйте!.. Что вы! Намедни я рассказываю ему о наших болгарских хлебных культурах. Сам же он меня просил. А между тем вдруг как хлопнет себя по ляжкам, согнул колени и кричит: «Да врете, батенька?!» Со всем сконфузил... Я со стыда сгорел... Положим, что я, действительно, несколько преувеличил, но – нельзя же так прямо в глаза!

Я расхохотался тем искреннее, что незадолго перед тем, – приезжаю я к Александру Ивановичу просить его в крестные отцы.

– Дядя, у меня дочь родилась.

Дядя приседает, хлопает ладонями по коленям, выпучивает на меня глаза и кричит истошным голосом:

– Да вре-ешь?!.

– Это из него наш семинарский скептицизм задним числом голос подает! – острил

об Александре Ивановиче талантливый и умный брат его, Алексей Иванович (ум. в 1898 году), – прозорливый человек, который в самый разгар моих старинных панславистских и консервативных увлечений твердо предсказывал мне:

– Это, бра-ат, все пу-устяки и пройдет. Это у тебя с ветра. Кончатъ жизнь будешь ты красным, на крайней левой. Потому что в тебе заложен наш ста-атический либерализм. А как войдешь в возраст и поумнеешь, так делается он динамическим, и все эти нынешние твои трынди-брынди опрокинет и поведет тебя куда следует...

Ах какой это был хороший, исключительно светлый, теплый, мягкий, разносторонне и всегда равно интересный, глубокий и простой, до святости добрый, до умиления очаровательный умница-человек!.. Смерть его не прошла бесследной и незамеченной в Москве, где Алексей Иванович пользовался, конечно, далеко не такою, как знаменитый брат его, но все же значительною популярностью, хотя он не занимал видного общественного положения, ни даже не был обществен-

ным человеком в строгом смысле этого слова. Скромный труженик по коммерческим делам (сперва – лет двадцать пять – бухгалтер в московском Купеческом банке, потом управляющий фирмой известных купцов-интеллигентов Сабашниковых), Алексей Иванович всю жизнь своею представлял высший образец того идеала, который шестидесятые годы начертили русскому человеку в коротком, но красноречивом, всем понятном слове «интеллигент». Трудно найти душу чище и отзывчивее на каждый благой порыв, ум более просвещенный, ясный и трезвый, образ мыслей более гуманный и доброжелательный, логику более спокойную и бесстрашную в рассуждении, сердце, богаче одаренное способностью все в людских отношениях понять, объяснить и, если надо, простить.

– Не спе-еши обижаться... – учил он меня однажды, усердно наливая меня густейшим и превкусным чаем, какой заваривать умеют в совершенстве только любящие комфорт, аккуратные старые холостяки. – Если на-адо обидеться, всегда успеешь: настоящей обиды сердце не простит... А по пустякам обижаться

спешат только дураки да злые от невежества люди... Ты не вскипай, а имей терпение разобратъ... Может быть, болезнь какая-нибудь или ты сам виноват... С людьми надо терпение иметь. Эф ю пэшенс!

Этою фантастическою, будто бы английскою (он ни английского, ни другого какого-либо иностранного языка совершенно не знал) фразою, неизвестно откуда схваченною, Алексей Иванович любил юмористически заключать свои беседы... Что ни стрясется бывало в нашем семейном обиходе, – на все спокойный ответ-совет:

– Эф ю пэшенс!

Нежная чуткость, кристальная прозрачность характера привлекли к Алексею Ивановичу такую массу друзей, что мало-помалу – особенно под конец жизни своей – он, пожилой, болезненный, медленно съедаемый туберкулезом человек, сделался, однако, невольным центром, вокруг которого группировалась весьма заметная кучка московских образованных людей. В скромной квартире Алексея Ивановича на еженедельных почти что студенческих «журфиксах» его можно бы-

ло видеть самых блестящих и интересных деятелей молодой Москвы. Милюков, Виноградов, братья Корсаковы, почти вся редакция «Русских ведомостей», Савей Могилевич Остроумов, Богдановы, Котляровские, Сперанские, – все они сходились отвести душу в присутствии этого молчаливого человека, с апостольским лицом, с ясными любвеобильными глазами, освежиться от пыли и копоти житейских битв прикосновением с его незапятнанною духовною чистотою. Редки в русском обществе люди, с такою убежденной последовательностью и искренностью прилагающие ко всем житейским отношениям своим евангельский принцип: «Не судите, да не судимы будете». Это драгоценное свойство, подобно магниту, тянуло к Алексею Ивановичу множество людей с удрученным сердцем, беспокойною совестью. По опыту могу сказать: удивительно умел он, что называется, разговорить такого несчастливца, ободрить его и утешить своей мягкой философией по здравому смыслу и богатому житейскому опыту. Пред ним легко было каяться и высказывать тайны, которые человеку в одиночку

носить в душе мучительно, а другим в них открыться – жутко, самолюбие не позволяет, стыд кричит. Отсутствие фанатизма, способность убеждать рассуждением, самая широкая терпимость к идеям, взглядам и мнениям ближнего поразительно выделяли Алексея Ивановича из сектантской среды московского либерализма восьмидесятых годов, в общем весьма-таки сухого, надменного и требовательного. Это была широкая русская душа, не любившая сама сжиматься в тесных оковах предвзятого ортодоксального ригоризма и на другие души надевать их не посягавшая. Вот, вкратце, и все причины, по которым смерть частного, небогатого, скромно поставленного в обществе человека встретила в свое время так много печали, вызвала в Москве такие яркие проявления скорби и нежных симпатий. Ушел из мира не вождь, не борец, не боец. Ушел просто чистый человек. Но брешь, оставленная в обществе уходом его, лишней раз выяснила огромное значение подобных людей в кругу человеческого. Мертвых их ценят больше, чем живых: тихие, скромные, не сующиеся на первые планы, чуждые честолю-

бия, всегда готовые на вторые роли, пассивные сеятели эти теряются в сутолоке мятущегося дня за деятелями более яркими, шумными, талантливыми, – и, только опуская в могилу их, мы чувствуем весь глубокий смысл их потери, сознаем, что «не будь таких людей, засохла б нива жизни».

Семинария, за исключением комической «формулы недоверия», не оставила на Александре Ивановиче, всегда изящном, тактичном, предупредительно любезном и деликатном, никаких следов свойственной ей угловатости. Атавизм духовного происхождения и следы духовного воспитания сказывались у обоих старших братьев Чупровых разве лишь своеобразным шуточным жаргоном их домашнего обихода, полным великорусских провинциализмов, калужского говора и цитат либо отдельных выражений из Писания или отцов церкви.

– Экой ты, брат... идол аккаронский! – восклицал Александр Иванович в знак своего совершенного неудовольствия, когда видел чью-нибудь уж очень большую нелепость, бестактность или некрасивую выходку. Даже

до сих пор, если я вижу ребенка качающимся вместе со стулом, мне всегда вспоминается чупровское предостережение:

– Сломаешь себе шею, как Илий первосвященник!..

Прибавьте к этому, что в семьях Чупровых литературными богами были Салтыков и Глеб Успенский, – значит новое наслоение жаргонного словооборота... Я вырос и воспитался среди этой сочной, образной, демократической, великорусской речи. Она оставила неизгладимые следы на моем говоре и даже на литературном языке, особенно в диалоге. Своим лексиконом и свободой в обращении с великорусским синтаксисом я всецело обязан влиянию Чупровых.

Свои лекции Александр Иванович читал и статьи писал совсем другим слогом. В лекциях он был блестящим преемником того научно-публицистического московского языка, который литературно выражен ярче всего Герценом, да едва ли не Герцен и положил начало такой манере изложения. Как некогда о Грановском, так и о Чупрове можно было сказать словами Некрасова: «Говорил он лучше,

чем писал». Газетные статьи свои, всегда деловитые, богато полные содержанием, блестящие эрудицией, Чупров писал тем – едва ли не умышленно – скучным, сухим, тяжелым слогом, который в семидесятых годах считался необходимою принадлежностью хорошего публицистического тона. Статья, иначе написанная, признавалась уже легковесным фельетоном и не удостоивалась серьезного внимания. А между тем А. И. Чупров был не только хороший, но первоклассный стилист. Работы, которые он имел время внимательно отделить, – образцы литературного изящества и, несмотря на свои специальные, тяжеловесные темы, читаются быстро, как роман, и укладываются в голову с поразительной легкостью и прочностью. Страстный любитель и знаток поэзии и литературы, А. И. Чупров придавал изяществу изложения очень большое значение. Я помню, как был он огорчен, когда какая-то студенческая провинциальная группа бесцеремонно издала его лекции по политической экономии без авторской корректуры, по безграмотной и нескладной записи. Впрочем, как было ему и не дорожить кра-

сотою своих лекций! Страстность, изящество, красивая убежденность его слова с кафедры захватывала аудиторию с полностью, редко выпадающею на долю даже гениальных лекторов. Было бы странно провозглашать Чупрова гением, но в нем было кое-что, пожалуй, стоящее гения: это – безграничное любвеобилие его, восторг к тому, что он излагает, и к тем, пред кем излагает. Своим мягким словом, восторженным голосом, ласковым сиянием глаз он будто заключал в объятия каждого студента своей аудитории, будто благословлял и отечески-нежно убеждал его:

– Милый ты мой! Посмотри, послушай, какую хорошую, славную науку выдумали хорошие ученые люди, и как хорошо это, что ты пришел учиться, и как ты, мой хороший, будешь еще лучше, когда выучишься!

Невозможно любить студенчество больше, чем любил его А. И. Чупров. И студенчество чувствовало, понимало и платило страстную взаимностью. Одна из вступительных лекций Чупрова описана мною в «Восьмидесятниках». Когда профессор впервые в семестре являлся пред аудиторией или, наоборот, про-

щался с нею, читая в последний раз в году, университет переполнялся бурей энтузиазма. Товарищество, которое, – я говорил выше, – Чупров умел установить даже с детьми, протягивало незримые нити и трепетало теплыми флюидами между профессорскою кафедрой и студенческими скамьями. Чупров был, может быть, наиболее совершенным русским выразителем и носителем университетской корпоративной идеи. Университет для него был живым и бессмертным организмом, историческою корпорацией, с началом, но без конца. Чупров искренно веровал в свое товарищество и единство цивилизующей работы и назад – с Грановским, Рулье, Бабстом или Никитой Крыловым, похороненными Бог знает сколько лет назад, и вперед – с семнадцатилетним первокурсником, впервые пришедшим в университет, вооружась карандашиком и тетрадкою для записи лекций. С увлажненными глазами встречал Александр Иванович каждый новый курс своих слушателей, а на последнем – никогда не мог удержаться от пылкого идеалистического напутствия молодежи, уходящей из университет-

ских стен в гражданскую деятельность. И не раз эти обмены напутствия с ответными приветами кончались тем, что у профессора – лицо мокрое и борода высеребрена слезами, а студенты рыдают, как малые дети.

* * *

Глядя на Александра Ивановича, я неоднократно думал: какое гениальное проникновение явил Тургенев, когда сделал своего Потугина – западника из западников, фанатика цивилизации, европейской науки и демократического строя, в котором она возникла и развилась, – человеком духовного происхождения, интеллигентом из семинаристов! Дети мосальского протопопы Ивана Филипповича Чупрова не уступали Потугину ни в энергии западничества, ни в фанатической вере в цивилизацию, ни в энтузиазме к поступательному прогрессу человечества, ни в надежде на эволюцию совершенства идей и явлений. Литтре называли святым без религии. Прозвище это вполне приложимо и к А. И. Чупрову – одному из самых последовательных, убежденных и бесстрастных, в мягкосердечии своем, позитивистов, каких только имела ев-

ропейская наука. Единственной религиею созревшего и маститого профессора Чупрова (смолоду он был пантеистом) была вера в человечество и любовь к человеку. Зато как же могуче и ярко светила и грела в нем эта земнорожденная религия, зажженная солнцем, над нами ходящим! Оптимист до мозга костей, Чупров не был, однако, ни Панглоссом, ни Кандидом. Его возвышенный оптимизм был чужд вульгарной проповеди – «все к лучшему в этом лучшем из миров». Толстовское непротивление злу Чупров принял с негодованием, а в опрощении видел регрессивное юродство. Оппортунизма этического в нем не было ни на кончик иглы, этической снисходительности, всепрощения, понимания и искания человека в человеке – широкое бездонное море. Бели бы Лука Максима Горького, верующий, что «люди живут для лучшего», получил кафедру политической экономии, с нее зазвучали бы ноты А. И. Чупрова. Но еще звонче пели в душе его лирические мелодии тех русских оптимистов, во что бы то ни стало и до последнего конца, которые – даже идя долиною скорби и тени смертной –

непоколебимо знают, что они увидят небо в алмазах, и жизнь будет тихая, кроткая, сладкая, хотя бы – через двести лет!

Великая жизнерадостность, обитавшая в А. И. Чупрове, прошла сквозь горнила жестоких испытаний. Правда, он знал в жизни своей блестящие научные и общественные удачи, славу, любовь и уважение толпы. Но в частном быту жизнь его не баловала. Я уже рассказал, как пред глазами его совершалось поголовное вымирание братьев и сестер. Он рано потерял крепко любимую, хорошую жену свою Ольгу Егоровну (ур. Богданову). У него превосходные дети, – и между ними блестящий преемник науки своего отца, также профессор политической экономии, Александр Александрович Чупров, – но не всех ему удалось вырастить, и смерть не раз стучалась в двери его детской. Он любил университет – и вынужден был лишиться университета. Любил Россию и, в особенности, Москву – обстоятельства приковали его к Дрездену и Мюнхену. Десять лет он прожил, как выразился в одном письме ко мне, «старым котом на покое», – вынужденном покое, отравлен-

ном болезнями и досугом для сознания, что медленно, но верно выходишь в тираж. Он был богат хорошими дружбами, но и богатство это обратилось в источник горестей, в бурные 1905–1908 годы, когда пресловутая «контрреволюция» обрушила на интеллигенцию русскую гонения без совести, разбора и пощады. Кто из эмигрантов, имеющих друзей в России, ложился теперь спать, спокойный за судьбу их, за свободу, за самую жизнь? Бессонные ночи Чупрова, когда он мучился невыносимой нервной болью в руке или приступами сердечных припадков, наполнялись грустными видениями, и на первом плане стояла кровавая тень горячо любимого Чупровым Г. Б. Иоллоса. Страшно потрясла Александра Ивановича кончина его старого друга и товарища по «Русским ведомостям» – П. И. Бларамберга.

Философ, смиренный в счастья и спокойно бодрый под личную беду, он работал до последнего дня своей жизни. Трудно поверить, в какой ничтожной степени занимали его материальные результаты работы, каким малым успехом удовлетворял он свое личное

самолюбие, как почти пугали, смущали и конфузили его громкие и широкие похвалы, как недоверчив он был к дифирамбам и овациям! Помню я шумный, блестящий, торжественный московский юбилей научной деятельности А. И. Чупрова. Вот он, стоя, выслушивает ораторов, стыдится, краснеет, сияет увлажненными глазами... И с невольною улыбкою думалось, глядя на него: «А ну как присядет, хлопнет ладонями по коленям и обрадует оратора: „Да врешь?!»

* * *

Огромные научные и общественные заслуги А. И. Чупрова принадлежат истории. Нет никакого сомнения, что первоклассное крупное профессорское имя его было бы еще громче и авторитетнее в экономической науке, если бы в свое время Чупров заперся на ключ в своей ученой библиотеке и эгоистически заложил уши от наплывающих зовов вопиющей общественной действительности. Быть может, тогда в мире было бы одним великим ученым-мыслителем больше. Но зато в России не было бы Чупрова – этого человека из людей, целиком сплетенного из самопо-

жертвования и вчуже, за ближнего своего, волнений и хлопот. В течение всей жизни своей он ставил себя, с трудами, мыслями, целями и начинаниями своими, на второй номер – после любого бедняка, который позвонит у подъезда, после любой курсистки, которой нужно найти урок, после любого студента, который вчера не понял нескольких слов в лекции и сегодня пришел спросить объяснения. Чупров изорвал свою жизнь в клочки и все их отдал людям, оставив себе лишь те обрывки, которых никто не захотел взять. И лишь на этих-то обрывках времени располагался его неустанный, внимательный, плодотворный труд.

Работы А. И. Чупрова многочисленны, но между ними нет ни одной, избранной и начатой по личному капризу, ради щегольства своим талантом, знанием, блестящею диалектикою, ради красивой науки для науки, обращенной, так сказать, внутрь себя самой. Все труды Чупрова – прикладные отклики на прямые экономические запросы минуты человеческой. Все это – практические кирпичи создаваемой цивилизации, все это – основные

вклады в культуру текущего века, полагаемые скромною, почти робкою рукою застенчивого мудреца, уверенного, будто он делает лишь маленькое-маленькое дело, и стыдливо старающегося не заметить, что он уже выстроил целую лестницу Иаковлю, и небо с алмазами уже сияет над его седею головою.

Работа взяла всю жизнь. Александр Иванович даже на смерть свою не истратил своего времени. Надорванное сердце остановилось сразу, как часы, упавшие на камень. Бытие для других – кончилось. Началось – для себя – небытие: великий смертный отдых.

Мир тебе, дорогой мой Александр Иванович! О, если есть хоть капля справедливости в механике мира сего, – ты отдохнешь, дядя Саша, ты отдохнешь!..

Примечания

1

Свершилось! Кончено! (*лат.*)

[^^^]